

В.А. Ачкасов

«ПОЛИТИКА ПАМЯТИ» КАК ИНСТРУМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ НАЦИЙ

В статье, посвященной анализу роли «исторической политики» элит в формировании национальной идентичности постсоциалистических стран, делается вывод о том, что вместо позитивной программы формирования национальной идентичности, вместо поиска компромисса в интерпретации сложных и трагических эпизодов совместной истории, признания общей ответственности за них или их совместного «забывания», политические и интеллектуальные элиты большинства постсоциалистических стран, наоборот, делают все для их актуализации и политизации, формируя и концептуализируя мифологемы массового сознания, придавая видимость научной обоснованности примитивным ксенофобиям и идиосинкразиям.

Ключевые слова: *политические и интеллектуальные элиты, коллективная память, национальный нарратив, национальная идентичность, политика памяти, политизация истории, «война интерпретаций».*

Коллективное воспоминание о событиях прошлого актуально и востребовано только тогда, когда оно вписывается в современную структуру групповых интересов и удовлетворяет потребности, возникающие «здесь и сейчас». Поэтому «историческая память, — согласно парадоксальному утверждению Пьера Нора, — всегда настоящее» (Nora 1994: 289). Осуществляя выбор событий и способов увековечивания прошлого, нация (точнее национальные элиты) одновременно выбирает свое будущее. Поэтому, прежде всего, «вспоминается» то, что созвучно современности, актуализируется ею и соответствует преследуемым политическим целям, и, соответственно «забывается» то, что препятствует их достижению, поскольку политика памяти традиционно связана и с практиками избирательного забывания. Причем нередко селекция такого рода проводится с предубеждением, идеализирующим и / или фальсифицирующим былое. «Забвение или, лучше сказать, историческое заблуждение является одним из главных факторов создания нации, и потому прогресс исторических исследований часто представляет опасность для национальности... сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой

Ачкасов Валерий Алексеевич — доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных политических процессов факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (val-achkasov@yandex.ru)

много общего и в то же время они забыли многое, что их разъединяет», — утверждал еще Э. Ренан (Ренан 1888: 21).

Для описания тех многочисленных способов «производства памяти», с помощью которых в обществе продуцируется, закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом, П. Нора ввел понятие «коммеморации» (Nora 1994: 19). Раскрытию содержания этого понятия способствует, как нам представляется, концепт «изобретенной традиции», предложенный британским исследователем Э. Хобсбаумом. Изобретенная традиция, по его мнению, — это «совокупность общественных практик ритуального и символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или не явно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение» (The Invention of Tradition... 1983: 43). Причины, по которым традиции конструируются, различны, однако чаще всего к этой стратегии прибегают элиты во имя удержания / завоевания власти в условиях кризиса. Исходя из этого критерия, Э. Хобсбаум подразделяет «изобретенные традиции» на три группы: первые символизируют и выражают социальную близость, идентичность сообществ и наций, вторые легитимизируют их статус, институты и авторитеты, третьи — социализируют определенные ценности, нормы, правила поведения (Ibid: 9).

Поскольку традиции складываются не сами по себе — их создают, отвергают или изменяют люди, — различается и значимость тех или иных элементов прошлого на разных этапах исторического развития общности и для разных социальных групп данного социума. «Конструктивисты» не без оснований пишут о том, что не существует объективных исторических фактов, все они изменчивы и, по сути, являются продуктом интерпретации тех, кто имеет большие или меньшие права на их легитимную номинацию. Поэтому «процесс признания и преодоления прошлого определяется в первую очередь политическими интересами и интересами влиятельных акторов» (Маколи 2011: 139). Это, в свою очередь, порождает феномен «конкурирующих традиций». Чаще всего это противоборство национальных или этнических традиций в рамках мультиэтничного социума или конфликты между традициями представителей различных социальных групп и политических союзов. Речь идет о борьбе за символическое господство, в ходе которой конкурирующие силы стремятся приватизировать публичный дискурс, инструментально используя те или иные исторические события и символы в своих целях. Причем участники этой конкурентной борьбы претендуют на объективность именно своей точки зрения, апеллируя к «объективным» свидетельствам (историческим, археологическим и т. д.). Возможно также острое соперничество политических, религиозных, региональных или этнических традиций. Такого рода действия могут привести «к расколу на “антагонистические сообщества памяти”, каждое из которых претендует на исключительность» (Налевайко 2009: 46–47). И поскольку историческое сознание любой социальной общности строится на противопоставлении или уподоблении «Другому», постольку, как правило, это сопровождается нагнетанием страха перед угрожающими «Другими» — «чужими» — «врагами».

Политическое инструментальное использование прошлого характерно при конструировании всех типов коллективной идентичности (расовой, этнической, классовой, гендерной, религиозной, региональной и др.), однако особое значение оно имеет для «воображения наций». «Без национальной истории, освещающей в воспоминаниях людей славные события прошлого, войны и победы, неудачи и поражения, образы героев и злодеев, нет нации», — утверждал С. Хантингтон (Хантингтон 2004: 185). Э. Геллнер также указывал на особую значимость использования истории как ресурса для формирования и поддержания национальной идентичности (а именно для преодоления социальной дистанции между группами, интегрирования их в рамках единой нации, преодоления дистанции между традиционной и современной массовой, анонимной культурой) (Геллнер 1991).

Именно поэтому создание национального мифа становится важной государственной задачей. Создание словарей и учебников языка, фиксирующих существующие нормы — или поднимающих на уровень литературного языка устное крестьянское наречие; популяризация национальных символов, учреждение национальных праздников, появление вымышленных персонажей, олицетворяющих нацию или ее институты, — все служило и служит тому, чтобы образ уникальности нации становился чем-то само собой разумеющимся в сознании ее граждан. В результате, каждая состоявшаяся нация имеет свою историю, «которая является не просто чередой событий, а профессионально организованным “национальным нарративом”, т. е. основанной на достоверном знании и общеразделяемой членами нации версией прошлого страны и ее народа» (Тишков 2010: 74).

Несомненно, что исторические нарративы «играют важную роль в национальной идентификации, описывая “общую” историю определенной нации, давая ей объединяющие символы и мифы... эти телеологически построенные исторические нарративы неизбежно упрощают и, как правило, искажают картину прошлого. Наряду с прославлением (предполагаемых) исторических достижений и “общих” жертв, такие нарративы решают задачу осмысления (или замалчивания) проблемных, темных или даже позорных событий в прошлом того или иного народа» (Миллер 2005: 66), т. е. решают задачу конструирования «удобного прошлого». «Нации, — как утверждал еще в XIX в. Эрнст Ренан, — строятся на коллективной потере памяти — изобретенные вчера, сегодня они воспринимаются уже как вечная и неизменная категория» (Ренан 1888: 19). Таким образом, официальная история нации может быть исторически достоверной или фиктивной, но в любом случае, благодаря системе образования, она становится общей собственностью, принятой большинством членов нации и обретает статус конвенциональности, поэтому отдельный человек не в состоянии в ней что-нибудь произвольно изменить.

Из этого, в частности, следует, что понятия «коллективная историческая память», равно как и «коллективное историческое сознание», «коллективная воля», суть не более чем метафоры*. «Все индивиды, коллективы и институты

* В связи с этим Дункан Белл предложил понятие «мифопанорамы» (mythscape), обозначающее дискурсивные сферы, в которых постоянно формируются, распро-

нуждаются в прошлом, — пишет Э. Хобсбаум, — но исторические исследования раскрывают только его случайные моменты. Стандартный случай культурной идентичности, привязанной к прошлому через мифотворчество, облаченное в одежды истории, есть не что иное, как национализм» (Hobsbawm 1997: 357).

Поэтому современные массовые представления об истории не являются «естественной памятью», передаваемой от поколения к поколению, они — результат деятельности профессиональных агентов исторической политики. «То, что мы называем памятью сегодня, это уже не память, а история» (Пьер Нора). Более того, известный французский историк пишет о «всемирном торжестве памяти», отмечая наиболее характерные черты данного феномена: это критика официальных версий истории и возвращение на поверхность вытесненных составляющих исторического процесса; это культ корней (roots) и развитие генеалогических исследований; это бурный рост числа мемориальных мероприятий, исторических музеев; это повышенная чувствительность к сбору архивных материалов; это возобновление привязанности к «наследию» — тому, что в англоязычном мире называется «heritage», а во Франции — «patrimoine». Нора выделяет и несколько особенностей процесса «расцвета памяти» в современном мире. Первая особенность состоит в «изъятии» у профессионального историка его традиционной монополии на интерпретацию прошлого. К истории сегодня постоянно «обращаются за справкой» средства массовой информации, «которым выдан мандат экспертов по памяти» (Фр. Артог — французский историк). Вторая особенность состоит во все более интенсивном политическом, коммерческом, туристическом использовании прошлого (Нора 2005).

«Историческая политика» представляет собой «непрерывное стимулирование обсуждения прошлого посредством различных форм его институционализации» (М. Чиховский). Именно поэтому и «то, какие элементы прошлого вовлекаются в культурный оборот в качестве “общего” для различных индивидов прошлого (а какие, напротив, “вытесняются”, подвергаясь активному “забыванию”), отнюдь не является чем-то само собой разумеющимся. Сколь бы неудобным для обыденного сознания это не прозвучало, но “общее прошлое” невозможно без специфических усилий по его конструированию» (Малахов 2001: 127). В связи с этим М. Ферро — автор известной книги «Как рассказывают историю детям в разных странах» — выделил три уровня представлений общества о прошлом, отраженных в школьных учебниках истории: 1. «Институциональная» (т. е. официальная, санкционированная свыше) история; 2. «Контрстория» (скрытая история побежденных и подавленных социальных групп, обращенных вовне сообщества); 3. Индивидуальная или коллективная память (См.: Ферро 2010).

Как уже отмечено, решающая роль в таком конструировании вариантов национального прошлого принадлежит политическим элитам. «Более того, в силу

страняются, обсуждаются и реконструируются мифы, лежащие в основе тех или иных коллективных идентичностей (прежде всего — мифы нации) (Bell 2003).

своей природы политический текст (транслируемый представителями политической элиты — *прим. В. А.*) всегда проецирует нормы и идентичности того политического сообщества, от чьего имени он произносится, воспроизводит и переопределяет эти нормы, границы между внутренним и внешним, “своими” и “чужими”» (Морозов 2010: 309).

От позиции политических элит зависит статус и оценка, которую получит то или иное событие той или иной национальной (этнической) истории. Несомненно и то, что от политических элит зависит и выбор знаковых исторических событий, которые в рамках исторического нарратива получают статус «великого момента» (Э. Шилз)*, изменившего ход исторического развития общества или даже всего мира. В советской историографии такой статус имела Великая октябрьская социалистическая революция, в современной России — это, несомненно, Великая отечественная война. Как резонно утверждает Н. Копосов, «миф о войне стал настоящим мифом происхождения постсоветской России» (Копосов 2011: 163), поскольку идея связи национальной истории с судьбой каждого россиянина, идея единства государства и народа выявляется в этой исторической трагедии, как нигде, наглядно. Это подтверждает и контент-анализ ежегодных посланий трех Президентов РФ: «...очевидно, что Великая Отечественная война — это единственное событие российской истории, которое активно используется в президентских посланиях в качестве позитивного символа, постоянно подвергаемого реинтерпретации», — отмечает О.Ю. Малинова (Малинова 2011: 114).

Такие «великие события», или «поворотные моменты» истории наделяются в официальном дискурсе особым символическим смыслом. «...Любые действия, связанные с сохранением памяти об этих поворотных моментах истории, пронизаны чувством приобщения к святыне, но, в то же время, в них сквозит глубокое внутреннее противоречие, — замечает Я. Зерубавель. — Это символическое состояние “порубежья”, бытия на грани двух эпох, с одной стороны, придает “поворотным моментам” дополнительную неоднозначность, позволяет по-разному их интерпретировать, а с другой — способствует их превращению в политический миф, используемый в борьбе различных сил» (Зерубавель 2011: 21–22). Не случайно в канун крушения Советского Союза радикальной ревизии была подвергнута история Октября 1917 г. и под сомнение поставлен его статус как «великого момента». А сегодня на постсоциалистическом пространстве то же самое происходит с предысторией и историей Второй мировой / Великой отечественной войны.

После распада Советского Союза перед политическими и интеллектуальными элитами новых наций объективно встала проблема конструирования или реинтерпретации национальной традиции, «национализации прошлого», вычленения «поворотных моментов» в истории, «переформатирования» коллек-

* «Великие события», — писал Э. Шилз, — это те события, которые, как считается, определили последующее развитие и, соответственно, придали ореол сакральности прошлому» (Shils 1975: 198).

тивной исторической памяти для легитимации национального строительства и возникших политических режимов. «Коллективная память об обретенных исторических корнях придает социуму новый импульс, становится средством выражения новых идей и ценностей, — отмечает Яель Зерубавель. В этом процессе новая нация опирается как на историческую науку, так и на традицию (поскольку прошлое нельзя полностью сконструировать — прим. В. А.). Избирательно используя тот материал, который они поставляют — то отвергая, то принимая их заключения, то подавляя, то развивая их положения, — новая нация заново создает свою память, формирует новую национальную традицию» (Зерубавель 2011: 10). Исторический нарратив, в том числе, был призван убедительно обосновывать права «титულიной нации» на эксклюзивное владение своей «исконной территорией», а новые интерпретации истории постсоветских наций служили важнейшим доказательством неповторимости пути их развития («этногенеза»), что стало инструментом конструирования новых культурных границ и идентичностей.

При этом, прежде всего «...отношение к советскому историческому наследию стало отправной точкой для пересмотра всей остальной истории; логика конструирования национальной истории подталкивала к критике истории советского периода, «уходу в глубь веков», и к практике замещения “советского” варианта истории “национальным” — отмечает украинский историк Г. Касьянов (Касьянов 2010: 117–118). В результате с распадом СССР появились не только 15 новых независимых государств, но и 15 новых национальных исторических нарративов, своего рода официальных версий прошлого каждой страны. В постсоциалистическом мире никто не удержался от соблазна радикально нового прочтения истории своего народа (особенно истории XX в.), идеологического присвоения исторического прошлого. Не случайно, в частности, вновь обрела актуальность, казалось бы, окончательно отвергнутая обществоведами концепция тоталитаризма. Именно она активно использовалась элитами многих стран постсоциалистической Восточной Европы в начавшихся «войнах памяти». И, конечно же, не потребности дальнейшего развития исторической науки сыграли здесь решающую роль. На первый план вышли проблемы национального строительства и соображения политической конъюнктуры. При этом национализация истории служит обоснованию либо достигнутого, либо желаемого положения политических элит, а также мобилизации масс в поддержку их требований, отсюда острая конкуренция исторических нарративов. Однако если для массового человека — это процесс утверждения значимости их этнокультурной идентичности, поиск «новой земли и нового неба», то для «вождей» это возможность политической карьеры и повышения социального статуса. Если для элит процессы изобретения национального прошлого — это процесс конструирования национальной идентичности, то для масс это открытие того, что извечно существовало в реальности, а раньше было либо забыто, либо запрещено к упоминанию, либо не было еще «открыто» учеными.

Именно поэтому одной из приоритетных задач правящих элит новых независимых государств стала историческая политика, т. е. «намеренные и фор-

мально легитимные действия политиков и чиновников, которые направлены на укрепление, удаление или переопределение отдельных фрагментов общественной памяти» (Л. Нияковский, цит. по: Траба 2009: 59). Эта политика реализуется путем интерпретации тех или иных эпизодов истории, избранных по политическим / партийным мотивам, путем создания новых школьных учебников истории, учебных планов и программ, учреждения новых «знаменательных дат» и праздников, строительства новых мемориалов и разрушения старых, установления контроля над деятельностью СМИ, поскольку именно через учебники истории, государственные праздники и мемориалы, исторические фильмы и программы радио и ТВ реализуется легитимационная функция исторической памяти. В свое время британский исследователь Энтони Смит поставил вопрос: «Почему все режимы принуждают молодых людей изучать в школе историю?», и сам ответил на него: «Не для того, чтобы понимать свое общество и как оно меняется, а для того, чтобы принять это общество как свое, гордиться им и стать хорошим гражданином США или Испании, или Гондураса, или Ирака... История как форма вдохновения и как идеология включает в себе способность становиться самооправдательным мифом» (Smith 1995: 53). В свою очередь, Т. Джадт отметил, что все современные государства живут сегодня «за счет педагогического капитала, вложенного в сограждан в предыдущие десятилетия» (Джадт 2011: 68).

Некоторые авторы склонны подчеркивать разницу между исторической памятью, «школьной» / публичной историей и профессиональной историей, т. е. системой критических исследований, связанной определенными правилами аргументации и использования фактов. «“Публичная история” — это значимый элемент символической политики*, и, в отличие от “формальной” или “профессиональной” истории, представляет собой репрезентации или интерпретации прошлого, адресованные широкой аудитории неспециалистов», — отмечает О.Ю. Малинова (Малинова 2012: 368). Действительно, разница между этими феноменами существует, однако содержание сконструированной исторической памяти, как и «школьной» истории, в немалой мере зависит от профессионального исторического знания. Можно напомнить, что профессиональная история и возникла в начале XIX в. именно как часть «предприятия по строительству нации» (А. Миллер), т. е. как предприятие по «национализации коллективной исторической памяти». Как утверждает Т. Боллентайн, с конца XVIII в. профессиональная историография была тесно связана с формированием национальной идентичности и консолидацией национальной общности, выступая в последние два века основным интеллектуальным инструментом «создателей государств». Конечно, работа велась профессиональными историками под контролем и при поддержке государственных институтов. Так обстояло дело не только в европейских странах, но и в их бывших колониях —

* В свою очередь, символическую политику, мы, вслед за С.П. Поцелуевым, понимаем как «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов» (Поцелуев 1999: 60–73).

история выступала там в качестве центрального элемента антиколониального и постколониального национализма. Поэтому Боллантайн называет историю «служанкой нации» и заявляет о необходимости «спасти историю от нации» (Ballantyne 2005: 23).

Можно также напомнить, что введение обязательных школьных курсов истории в Европе было связано со становлением государственной системы всеобщего обучения и с расширением круга обладателей избирательного права, т. е. числа граждан национального государства. Одновременно, под влиянием модернизации, была разрушена «естественная» система трансляции «коммуникативной памяти» в рамках ранее относительно закрытых и стабильных традиционных социальных групп. В результате «партикулярные групповые идентификации были... почти полностью подчинены идентификации национальной, задававшей важнейшие параметры отличия “нас” от “них”» (См.: Бойцов 2005). С этого времени нации стали изображаться в качестве главных субъектов истории, а образы выдающихся деятелей далекого прошлого — подвергаться соответствующей стилизации, благодаря чему они превращались в национальных героев и национальные символы. Повсеместно усилиями представителей интеллектуальных элит создаются исторические пантеоны — собрания образов национальных героев.

Однако, не успев даже до конца оформиться, сконструированные «национальные» истории (как и любые иные картины прошлого) начали провоцировать конфликты и «войны интерпретаций», нередко непримиримые. Не случайно XIX столетие называли «веком национализма». Тем не менее, до недавнего времени «...национальное государство в пределах своих границ успешно сохраняло монополию на “рассказывание истории”. Сегодня с усилением мобильности людей и развитием средств коммуникации столкновения между разными образами прошлого несопоставимо участились, спустившись до уровня сознания рядового обывателя. ...Это многократно усиливает заряд конфликтности, содержащийся в национальной истории, ее способность ссорить людей» (См.: Бойцов 2005).

Как отмечал еще в 1950 г. К. Рид, «...историк находит в прошлом то, что ищет. Он отбирает, излагает и подчеркивает факты в соответствии с той концепцией, которая социально желательна и востребована, и рассказывает об эволюции общества, постоянно имея в виду это обстоятельство» (Read 1950: 285). Ныне историки постсоветских государств в большинстве своем пришли к пониманию высокой степени субъективности всякого исторического знания. Окончательно стало ясно, что невозможно провести четкую грань между объективным и субъективным способом познания прошлого, поэтому историческая наука представляет собой совокупность культурных практик, сложившихся в определенных исторических обстоятельствах и оттого неизбежно со временем трансформирующихся. Тем более что историческая политика, т. е. определение политического смысла исторического прошлого, в плюралистических обществах не является монополией государства, хотя оно и занимает в этой сфере особое привилегированное положение, поскольку обладает возможностями навязывать способы интерпре-

тации событий прошлого, прежде всего, с помощью системы школьного образования.

Однако если в восточноевропейских постсоветских странах идет острая конкуренция «проектов прошлого», то в Центральной Азии государство претендует на полное изъятие у профессиональных историков их традиционной монополии на интерпретацию прошлого. В наиболее явной форме это проявилось в Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане. При этом наибольшей известностью пользовалось до недавнего времени историческое творчество «отца всех туркмен» Сапармурата Ниязова и его книга «Рухнама» (2001 г.), в которой, наряду с нравственными наставлениями и философическими рассуждениями, изложен и «единственно верный» вариант национальной истории*. Основной для книги стала идея богоизбранности туркменского народа, созданного непосредственно Аллахом 5 тысяч лет назад. Первым туркменом назван Огуз-хан — мифический прародитель всех тюрков. Туркменам приписывается создание 70 государств, в том числе Парфии, государства сельджуков и т. д. (Ниязов 2001). Однако по этому пути пошли и другие лидеры государств региона. Так, еще в 1997 г. появилась книга Ислама Каримова «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса», в которой описывается героический вариант тысячелетней истории узбеков (не случайно главным национальным героем Узбекистана избран создатель государства и завоеватель Амин Тимур — Тамерлан)**. В частности, в книге утверждается, что «узбекский этнос» и «узбекская государственность» существуют не менее трех тысячелетий. Сегодня они возрождаются спустя десятилетия «российско-советского колониализма» (Каримов 1997). Несколько позже появляется книга лидера Таджикистана Эмомали Рахмона «Таджики в зеркале истории», в которой также изыскиваются древние корни таджикской нации (поэтому на роль главного национального героя «утверждается» создатель государства саманидов Исмаил Самани) и рисуется «зеркальный» (по отношению к узбекскому) образ тысячелетней трагической истории «народа-жертвы», его постоянной борьбы с историческими врагами за выживание: «...Враги нашей нации очень старались стереть со скрижалей истории само имя таджика. Но таджикская нация, пройдя через многочисленные тяготы и невзгоды, сумела в кровопролитных войнах отстоять и защитить свою национальную самобытность, сберечь свое имя, язык, культуру, старинные обычаи, традиции и верования...» (Рахмонов б. г.: 128). С момента публикации эти книги стали обязательными для изучения как в средней школе, так и в вузах, все иные интерпретации национальной истории оказались под запретом.

* Правда, после смерти С. Ниязова, сначала (в 2008 г.) сократили время на изучение священной книги «Рухнама» в вузах, а в 2009 г. начали изъятие книги с предприятий и учреждений. Взамен выдавался первый том сочинений нынешнего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаметова «К новым высотам».

** Проблема, однако, в том, что уже к 1500 г. потомков и наследников Тимура вытеснил из Средней Азии как раз племенной союз узбеков, под властью которых регион оставался вплоть до его завоевания Российской империей в XIX в.

Объясняя такое внимание к национальному прошлому и школьной истории со стороны лидеров новых постсоциалистических государств, В.А. Тишков пишет: «В последние десятилетия вопрос о школьной истории и о национальных версиях прошлого тесно переплелся с проблемами глобальных переоценок (истории) после окончания холодной войны или периода “большого противостояния”, с проблемами государствовоительства после распада СССР и Югославии, с причудливыми трансформациями национализма и поисками национальной идентичности» (Тишков 2011: 217). Следует еще раз отметить, что формирование национальной идентичности не является спонтанным и неизбежным процессом и требует сознательных усилий государства, политических и интеллектуальных элит. Поэтому концепции национальной школы, которые разработаны и внедряются в постсоциалистических государствах и ряде «национальных» регионов России, призваны не столько повысить уровень языковой и исторической компетенции учащихся, сколько сконструировать историческую память путем создания нового, преимущественно антирусского и антисоветского национального нарратива, актуализировать старые обиды, сделать «видимыми» ранее существовавшие и создать новые культурные границы. Так, в результате «общая война (Великая отечественная война — прим. В. А.) в сознании школьников постсоветского пространства окончательно сменилась 15 отдельными войнами, вне зависимости от того, характеризуются они позитивно или негативно», при этом декоммунизация истории войны неизбежно вела к реабилитации коллаборационизма («Расскажу вам о войне...» 2012).

Как известно, для самооценки национальной общности прошлое зачастую важнее, чем настоящее. Можно также утверждать, что «в отсутствие убедительных доводов о культурном величии и своеобразии этнической общности работа по изобретению недостающих культурных элементов и созданию исторических мифов будет особо бурной, а неприятие рационалистической критики националистической позиции особо острым» (Коротеева 1999: 82). Несомненно, для того чтобы считать себя народом, равным великим нациям (т. е. способным стать нацией), надо обладать не менее глубокими корнями и славной историей и не менее богатой культурой. Если же что-то из этого набора отсутствует, недостающее может быть восполнено мифом, придуманной генеалогией или даже поддельными памятниками и заимствованными символами. Никто не хочет согласиться с тем, что его нация — «это тоже племя, только с армией». «Иногда кажется, что нация имеет временное измерение исключительно в модуле одержимости корнями национального существования в глубоком этническом прошлом», — восклицает американский историк Кевин Платт (Платт 2010а: 73). Такая «одержимость прошлым» может вызываться своего рода комплексом национальной неполноценности, потребностью в самоуважении и признании со стороны великих или соседних наций, необходимостью выбора из нескольких возможных интерпретаций исторического прошлого своего народа. Причем чем менее сплоченна и гетерогенна новая нация, тем более востребованы «религиозные пласты» исторической памяти, особенно если учесть, что в советские времена перманентно шла «борьба с религией». Поэтому власти

постсоветских стран были крайне заинтересованы в конструировании истории своего народа, уходящей в глубь веков, и «подходящего образа далеких предков». При этом, например, предки-земледельцы ценятся выше, чем предки-кочевники. Действительно, следы деятельности первых обнаружить легче, их культурные памятники маркируют строго ограниченную территорию, которая считается по праву принадлежащей их потомкам и легитимирует «национальное государство». Кроме того, предки, веками отстаивавшие свою территорию и суверенитет, ценятся выше, чем предки-завоеватели, разрушавшие построенное другими народами. Хотя зачастую исключение делается для тех предков-завоевателей, которые осуществляли «цивилизаторскую миссию». Также немало важно, кого именно выбирают в предки. В этом отношении показателен образ «арийцев», которые наделяются высокими креативными способностями и предстают создателями культурных достижений мирового значения», — иронизирует В. Шнирельман (Шнирельман 2010: 217).

Тем не менее, поражает размах, с которым в постсоциалистическом мире государства эксплуатируют в политических целях историческое прошлое. Идеологическое переформатирование и перекодирование общего прошлого, особенно недавнего, превратилось в течение последнего десятилетия в один из важнейших инструментов осуществления политического влияния внутри и вне новых государств. Так называемая историческая политика или «политика памяти» стала инструментом национального строительства (конструирования национальной идентичности), обеспечения внутренней и внешней легитимности государства, политической мобилизации и консолидации социума на всем постсоциалистическом пространстве.

Причем если в бывших странах «народной демократии» ведущим стал миф о «возвращении в Европу» (М. Кундера), которому всегда препятствовал СССР, принудивший народы стран региона пойти по исторически тупиковому коммунистическому пути*, то в постсоветских государствах национальные нарративы конструировались на основе «постколониальной парадигмы» (В.А. Тишков), т. е. на основе мифа об избавлении от имперского господства и национального угнетения. Изложение новых национальных историй осуществляется с явным акцентом на негативные аспекты истории советского / коммунистического периода. Подчеркивается беспрецедентность и уникальность страданий народа, особенно страданий, испытанных народами новых государств в тоталитарном

* Однако в странах «ядра» Евросоюза возникли подозрения, что «новая Европа» на самом деле является менее «европейской», чем ей надлежит быть, или, что страны региона, являясь изначально европейскими, затем «испортились» под влиянием Востока (случай Восточной Германии), или даже что они никогда и не были собственно европейскими (случай Болгарии, Румынии, Латвии). Европейская тенденция ориентализировать бывшие социалистические страны является большим вопросом для интеллектуалов «новой Европы», вроде Милана Кундеры. Среди менее элитных групп можно указать на параллельное явление — подозрение, что отношение «Новой Европы к “Старой” можно охарактеризовать как простую эксплуатацию», — отмечает Кевин М.Ф. Платт (Платт 2010б: 60–61).

коммунистическом прошлом. Новая национальная история предстает как цепь преступлений, совершенных в отношении народов новых государств и беспрецедентных жертв, понесенных ими. Как отмечает российский историк А.И. Миллер, «историческая политика» вообще может проводиться исключительно с позиции жертвы, поскольку она явным образом требует использования прошлых страданий не только как внутренней мобилизующей силы, но также и для «экспорта вины» (Миллер 2008). В предельных случаях концентрация на прошлых страданиях превращается в сотворение «национального Холокоста» — борьбу за признание международным сообществом геноцида против собственного народа. Эта политика сегодня широко используется во многих постсоциалистических государствах, прежде всего в бывших советских республиках (Финкель 2011: 123–143).

Понятно, что на постсоветском пространстве, как и в большинстве стран бывшего «лагеря социализма», роль «злой силы» «зарезервирована» за русскими и российским государством. В период борьбы за независимость оппозиционные движения в советских республиках выработали своеобразное дуалистическое миропонимание, в соответствии с которым Российская империя и Советский Союз, а также все, с ними связанное, представляют собой силы зла и угнетения, которые через насильственную и злонамеренную политику русификации лишали народы их культуры, исторического прошлого и будущего, а сами националистические движения — силы добра и свободы, которые все это им возвращают. Этот дуализм стал характерной особенностью политического дискурса практически всех постсоциалистических государств. «Во многих соседних странах, — пишет, в частности, А.И. Миллер, — есть политические силы, которые совершенно сознательно стремятся превратить историю в оружие политической борьбы. В области международных отношений они стремятся зафиксировать для тех или иных стран, прежде всего для России, роль “виноватого”, а для своей — роль “жертвы”, в расчете получить определенные моральные преимущества. Требуя от России покаяния и компенсаций за реальные и мнимые грехи, описывая Россию как неизлечимо агрессивную имперскую нацию, создавая образ России как конституирующего и враждебного “Чужого”, сторонники “исторической политики” считают ее подходящим инструментом для формирования национальной идентичности у себя в стране, для борьбы со своими политическими оппонентами, для маргинализации тех или иных групп населения, в том числе русского меньшинства, там, где оно есть» (Миллер 2009: 51–52). Так, российские исследователи Л. Моисеенкова и П. Марциновский проанализировали около 20 учебников по истории Украины, издававшихся в 1995–2002 гг. По их мнению, во всех учебниках «взаимоотношения Украины и России представлены как перманентное противостояние ... Украинцы на протяжении всей своей истории — борцы за независимость. Главная цель, которую ставят перед собой авторы учебников — это преодоление в сознании учащихся представления об истории Украины как части российской истории» (Цит. по: Медведев 2006). Однако практически нигде на постсоветском пространстве не отказались «...от советских конструктов этногенеза и представлений о “нашем” великом вкладе в цивилизацию и культуру,

от созданных при советской власти имиджей “наших” великих уникальных национальных культур ...», когда «каждая титульная нация получила свою историю как доказательство эксклюзивного права на владение “исторической территорией” и свою национальную культуру (как структуру институтов и пантеон образов)» (Румянцев 2011: 64).

В то же время конструирование «образа врага» стало способом избавления от ответственности за негативно оцениваемое прошлое, особенно социалистическое. В результате «историческая вина за тоталитаризм» ложится лишь на русских, а большинство населения постсоциалистических государств освобождается от подозрения в лояльности этому режиму или даже его поддержке. Хотя репрессивная политика времен «реального социализма» осуществлялась не только и не столько русскими, сколько представителями самих «угнетенных народов». Это лишь подтверждает то, что неотъемлемой частью политики памяти является и политика «забывания», которая может быть «вытесняющей», когда общество не касается определенных событий как очень болезненных для массового сознания и потому крайне конфликтогенных, или «отрицающей», когда власти и те или иные общественные группы избегают признания и обсуждения определенных постыдных или преступных событий прошлого (См.: Миллер 2008). Очень показательно в этой связи то, насколько трудно дается венграм, полякам, латышам, литовцам, словакам, украинцам и др. дискуссия об их роли в Холокосте и других преступлениях конца 1930–1940-х гг. (массовые депортации немцев; этнические чистки, например, так называемая Волынская резня, приведшая к уничтожению тысяч польских граждан украинскими националистами, или насильственная полонизация меньшинств в предвоенные годы, самым масштабным свидетельством которой стала операция Войска Польского по уничтожению трети православных храмов страны в 1938 г., и др.). Как отмечает петербургский историк Н. Копосов: «Именно участие “местных сил” сделало геноцид столь масштабным — в большинстве стран региона погибло более 90 % проживавших в них евреев. На этом фоне особенно одиозными выглядели парады ветеранов СС в странах Балтии, поскольку стало очевидным, что симпатии части их жителей к нацизму, проявившиеся в ходе войны, невозможно объяснить только борьбой за национальную независимость» (Копосов 2011: 70).

Следует, однако, признать, что такого рода сверхусилия по деконструкции национальной истории «не пропали даром».

В этом смысле крайне показателен пример исторических нарративов, продуцируемых в Польше и России, для которых особенно характерна диаметрально противоположная интерпретации одних и тех же исторических событий. Как отмечает российский автор, «во многом это связано с тем, что, как правило, события, рассматриваемые исследователями, сфокусированы вокруг трагичных моментов истории, в которых одна сторона оказывается жертвой, а другая триумфатором. И эта связка “жертва — триумфатор” как раз и формирует тот гордиев узел неразрешимых проблем и противоречий, которые вот уже на протяжении нескольких десятилетий не дают покоя не только исследователям и художникам, занимающимся изучением этих вопросов и их художественным

воплощением, но и самым обычным гражданам, которые оказываются впрямую или опосредованно втянутыми в этот водоворот памяти» (Кочеляева 2012: 69). В результате, как показывают социологические исследования последних лет, две трети поляков полагают, что в истории польско-российских отношений больше негативных, чем позитивных моментов, причем молодежь (18–24 года) особенно настаивает на преобладании негативных моментов. Больше половины поляков считают, что Россия должна ощущать чувство вины по отношению к Польше в связи с событиями Второй мировой войны, Катынью, а также социалистическим периодом, когда Польша зависела от СССР. В то же время, более 80 % поляков уверены, что Польша не должна иметь чувства вины по отношению к России в связи с историческим прошлым (Лыкошина 2008: 104).

Причины сегодняшних трудностей также изыскиваются в прошлом и, конечно же, вне своей нации. В роли всеобщего «козла отпущения» и внешнего «врага» опять же представляется Россия, а в роли внутренних «враждебных друзей» — русские или «русскоязычные». В результате новые интерпретации истории используются в качестве главного аргумента, как во внутренних политических дебатах, так и при выяснении отношений с Россией как правопреемницей СССР. Так, по мнению большинства поляков, после авиакатастрофы лайнера польского президента Леха Качиньского под Смоленском в апреле 2010 г. у России и Польши появился шанс к примирению. Однако польскими правыми силами была предпринята попытка раскрутить на этой основе еще одну антироссийскую кампанию. Так, в консервативном издании «*Nasz Dziennik*» было опубликовано интервью с депутатом от партии «Право и справедливость» А. Гурским под заголовком «Я обвиняю Москву». «Думаю, Россия ответственна за эту катастрофу, за эту новую Катынь — заявил оппозиционер Леха Качиньского. — Однако мы никогда не узнаем правды, как не узнали ее в 1943 году, когда президент Польши в изгнании Владислав Сикорский погиб в авиакатастрофе над Гибралтаром, после того как повздорил с русскими по поводу той же Катыни» (Цит. по: Терентьев-мл. 2010: 4).

Зачастую подобная «война интерпретаций», борьба с помощью той или иной выборки исторических фактов становится прологом к острым межгосударственным политическим конфликтам. «Экспорт вины» обычно вызывает резкую реакцию со стороны обвиняемого государства. «В результате раскручивается спираль взаимных обвинений, дипломатических конфликтов и “сражений за прошлое”, которые, вообще говоря, могут превращаться и в реальные войны» (Финкель 2011: 127). Так, «фронты исторического противоборства» являются важнейшей частью политики стран Южного Кавказа. И эти фронты исправно работают, формируя то, что известный этнополитолог Стюарт Кауфман назвал «символической политикой этнической войны». Поэтому, скорее всего, разрешение конфликтов может начаться здесь с «разрядки» именно на фронтах борьбы за непредсказуемое прошлое региона (Маркедонов 2010). При этом «сражение за интерпретативное фреймирование и нарративное кодирование конфликта и насилия — это игры с высокой ставкой» (Р. Брубейкер), поскольку принятие этнического «значения» конфликта, как правило, повышает уровень сплоченности участников противостояния.

Участие интеллектуалов — «хозяев дискурса» в производстве «исторической политики», как правило, носит опосредованный характер. Воздействуя на массовое сознание через СМИ и на дискурс политической элиты — через институты политического консультирования, они способны как уменьшить, так и резко увеличить конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях. Как уже отмечено, общая повествовательная конструкция, представляющая прошлое каждого социума, всегда служит интересам правящей политической элиты и призвана способствовать реализации ее политических задач. Более того, «вопросы: “Что остается за границами культурной памяти?”, “Каковы принципы включения и исключения?” неразрывно связаны с вопросами владения и удержания власти, а это значит, что изменение во властных отношениях неизбежно вызывают и изменения в структуре культурной памяти», — утверждает А. Ассман (Assman 2009: 35).

Однако интеллектуалы могут оказывать на «политику памяти» и непосредственное воздействие, если они сами «идут во власть». Можно, в связи с этим, отметить массовое «хождение во власть» (А. Собчак) гуманитариев в первые годы постсоциалистического бытия бывших советских республик: первый президент Абхазии В. Ардзинба до начала политической карьеры был историком, его политический оппонент — президент независимой Грузии З. Гамсахурдия — филологом и поэтом; председатель Верховного совета независимой Литвы В. Ландсбергис — музыковедом, президент Армении Л. Тер-Петросян — историком, «демократический» президент Азербайджана А. Эльчибей — филологом-арабистом и т. д. Практически все они в немалой степени способствовали началу целого ряда «войн памяти», и применительно к их деятельности можно вести речь об «идеологическом производстве конфликтов» (В. Малахов).

Однако интеллектуалы-гуманитарии во власти находились недолго, почти все они были вынуждены ее уступить представителям бывшей советской номенклатуры. И поскольку в Советском Союзе «национальному фактору» была придана роль важнейшего социального маркера, а этничность (национальность, в советской терминологии) означала принадлежность к определенной статусной группе, т. е. была институализирована, постольку в постсоветских обществах она стала мощным инструментом межгрупповой конкуренции и получала систематическую поддержку со стороны политических элит, которые активно использовали национализм и препарированную историю в борьбе за власть. Именно эта институализация этничности во многом объясняет удивительную, для стороннего наблюдателя, идейную пластичность постсоветских элит, их почти мгновенную трансформацию из «пламенных интернационалистов» в не менее «пламенных» защитников национальных / этнических интересов. И никто не прислушался к мудрому совету, данному известным гарвардским профессором Уильямом Юри еще в 1992 г.: «В острых конфликтных ситуациях очень часто необходимо поговорить о прошлом, прежде чем можно будет обратиться к будущему. Только в случае уважительного отношения к истории и признания имевших место в прошлом страданий и злоупотреблений можно перейти к конструктивному обсуждению планов на будущее» (Юри 1993: 80).

Литература

- Бойцов М.* История закончилась. Забудьте // *Культура*. 2005. 31–32.
- Геллер Э.* Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. [http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/12.php].
- Джадт Т.* Места памяти Пьера Нора: Чьи места? Чья память? // *Империя и нация в зеркале исторической памяти*: Сб. статей. М.: Новое издательство, 2011.
- Зерубавель Я.* Динамика коллективной памяти // *Империя и нация в зеркале исторической памяти*: Сб. ст. М.: Новое издательство, 2011.
- Каримов И.* Узбекистан на пороге XXI в.: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. Ташкент, 1997.
- Касьянов Г.* «Национализация» истории в Украине // *Национальные истории на постсоветском пространстве-II. Десять лет спустя* / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XXI, 2010.
- Копосов Н.* Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- Коротеева В.В.* Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999.
- Кочеляева Н.А.* Проблемы взаимодействия механизмов памяти и забвения в формировании гражданского общества // *Культурная память в контексте формирования национальной идентичности России в XXI веке: Коллективная монография* / Отв. ред. Н.А. Кочеляева. М.: Рос. ин-т культурологии, 2012.
- Лыкошина Л.С.* Некоторые аспекты исторического и национального сознания в Польше // *Системные изменения и общественное сознание в странах Восточной Европы*. Сб. науч. тр. / Редкол.: Шаншиева Л.Н. (отв. ред.) и др. М.: РАН ИНИОН, 2008.
- Маколи М.* Историческая память и общество сограждан // *Pro et Contra*. 2011. 51 (1–2). Январь — апрель.
- Малахов В.* Символическое производство этничности и конфликт // *Язык и этнический конфликт* / Под ред. М.Б. Олкотт и И. Семенова. М.: Гендальф, 2001.
- Малинова О.* Тема прошлого в риторике президентов России // *Pro et Contra*. 2011. 52 (3–4). Май — август.
- Малинова О.Ю.* Использование прошлого в российской официальной символической политике // *Историческая политика в XXI веке: Сб. статей* / Под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- Маркедонов С.* Исторические фронты Южного Кавказа, 2010 // *Мониторинг СМИ* [<http://www.globalaffairs.ru/articles/10246.html>].
- Медведев Р.А.* История как средство самоидентификации // *Россия в глобальной политике*. 2006. 4. Июль — август.
- Миллер А.И.* Дебаты об истории и немецкая идентичность // *Политическая наука: Идентичность как фактор политики и предмет политической науки*: Сб. науч. тр. № 3. / Ред. и сост. Малинова О.Ю. М.: ИНИОН РАН, 2005.
- Миллер А.* Историческая политика и ее особенности в Польше, Украине и России // *Отечественные записки*. 2008. 5 (44). [<http://www.strana-oz.ru/?numid=46&article=1735>].
- Миллер А.* Россия: власть и история // *Pro et Contra*. 2009. 2. Май — август.
- Морозов В.* Охранительная модернизация Дмитрия Медведева. Некоторые размышления по поводу ярославской речи // *Неприкосновенный запас*. 2010. 6.
- Налевайко Е.* Политический популизм и социальный страх // *Социология*. 2009. 4.

Ниязов С. Рухнама. Ашхабад, 2001.

Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. 40–41 (2–3).

Платт К.М.Ф. Ностальгия и инновация: темпоральность модернизирующейся нации // Неприкосновенный запас. 2010а. 74 (6).

Платт К.М.Ф. Оккупация vs колонизация: История, постколониальность и географическая идентичность. Случай Латвии // Неприкосновенный запас. 2010б. 3.

Поцелуев С.П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация // Полис. 1999. 5.

«Расскажу вам о войне...». Вторая мировая и Великая отечественная войны в учебниках и сознании школьников славянских стран / Колл. авт. Т.С. Гузенкова (отв. ред.). М.: РИСИ, 2012.

Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. Кн. 1: От арийцев до Саманидов. Л., б. г.

Ренан Э. Что такое нация? СПб., 1888.

Румянцев С. Советская национальная политика в Закавказье: конструирование национальных границ, историй и культур // Неприкосновенный запас. 2011. 4.

Терентьев-мл. А. «70 лет спустя. У россиян и поляков возник исторический шанс к миру и согласию» // Однако. 2010. 19 апреля.

Тишков В.А. Историческая наука: новые вызовы и задачи России // Вестник российской нации. 2010. 1–2.

Тишков В.А. Про разные истории (размышления по поводу статьи Сергея Нарышкина) // Тишков В.А. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011. 2-е изд., перераб. и доп. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2011.

Траба Р. Польские споры об истории XXI в. // Pro et Contra. 2009. 46 (3–4). Май – август.

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах. М.: Книжный клуб, 2010.

Финкель Е. В поисках «потерянных геноцидов» // Pro et Contra. 2011. 52 (3–4).

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004.

Шнирельман В. Президенты и археология, или Что ищут политики в древности // Вестник Российской нации. 2010. 1–2.

Юри У. Этнические конфликты: что можно сделать? // Национальная политика в Российской Федерации: Материалы международной научно-практической конференции (Липки, сентябрь 1992 г.). М.: «Наука», 1993.

Assman A. “Plunging into Nothingness”: The Politics of Cultural Memory // Lambert L.B., Ochsner A. (Eds.). Moment to Monument: The Making and Unmaking of Cultural Significance. Bielefeld: Verlag, 2009.

Ballantyne T. Putting the nation in its place?: World history and C.A. Bayly’s “The Birth of the Modern World” // Curthoys A., Lake M. Connected Worlds: History in Transnational Perspective. Canberra, 2005.

Bell D.S.A. Mythscapes: memory, mythology and national identity // British journal of sociology. 2003. 54 (1).

Hobsbawm E.J. On History. L., 1997.

The Invention of Tradition / Eds. E. Hobsbaum, R. Terence. Cambridge, 1983.

Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства...

Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // History and Memory in African — American Culture / Ed. G. Farbe, R. O`Meally. N.Y., Oxford, 1994.

Read C. The Social Responsibilities of the Historian // The American Historical Review 1950. 55 (2).

Shils E. Center and Periphery: Essays in Macrosociology. Chicago, 1975.

Smith A.D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, 1995.